

* * *

Пригляделся к байкальским красотам.
Попривык. Перестал замечать.
Что там горы в багульнике, что там
предосенней тайги позолота —
все поблекло и стало мельчать.

Ну, скалы нависает громада.
Ну, тропа сквозь кедряч пролегла.
След медведя. Следы камнепада.
Эка невидаль! Так, мол, и надо.
Заурядные, в общем, дела.

Но пожаловал в гости однажды
человек из далеких краев.
Словно путник, томящийся жаждой,
и к цветку, и к травиночке каждой
жадным взглядом приникнуть готов.

Языка поначалу лишился —
онемело качал головой...
Уезжая, обнял, прослезился
и тирадой в сердцах разразился
умилительной: «Боже ты мой!

Понимаете ли, где живете?
Чем владеете, цените ли?..»
Теплоход, как и должно на флоте,
дал четыре гудка при отходе
и неспешно растаял вдали.

* * *

Проникаю несуетным взглядом
в тот Иркутск, где не будет меня...
С нестареющей церковью рядом
пробегают трамваи, звеня.

А над ней, в поднебесье взмывая,
как в былые, мои, времена,
мельтешит голубиная стая —
слава богу, сыта и вольна.

Поверну-ка незримо у рынка,
отдохну на подъеме крутом.
Прежде звали — Иерусалимка,
Парк культуры — назвали потом.

Нет в округе удобнее горок:
безмятежность, простор, высота.
Открывается прожитый город
целиком — от моста до моста.

Я остался стоять на причале.
Как обычно, тугая волна
била в бревна. И чайки кричали.
Но — о, чудо! — глаза не скучали,
будто разом сошла пелена.

И опять я увидел впервые
и несчитанных птиц в вышине,
и Дабана гольцы снеговые,
и в воде облака кучевые —
в неживой ниже дна глубине.

На единой, на благостной ноте
пели травы, стрижи и шмели.
И донес ветерок на подлете:
«Понимаете ли, где живете?
Чем владеете, цените ли?»

Предугадываю перемены:
подросли деревья и дома,
но душа, сердцевина — нетленны,
как нетленна природа сама.

Только я бы едва ли ответил,
в чем она, городская душа.
Этот звон, переменчивый ветер,
что балует, листву вороша,

купола, предзакатное солнце,
яркий блик на ангарской волне,
вековая резьба над оконцем —
все, как было когда-то, при мне.

Знать, не страшно сокрыться в природе,
коли жил, и томясь, и любя.
Ведь с уходом твоим не уходит
то, что в жизни превыше тебя.

Дом на улице Софьи Перовской

*Тамаре Аркадьевне Шипиловой,
Галине Аркадьевне Садовской*

Задолжал со студенческих лет.
Задолжал не рубли, не червонцы,
а приветливый свет из оконца,
доброты нескончаемый свет.

Вы меня приглашали за стол
И вздыхали при том: «Чем богаты».
Словно были и впрямь виноваты,
что, увы, невелик разносол.

Беспечальный студент, голытьба!
Разве мог бы учиться, не зная,
что чужого меня, как родная,
в ночь-полночь обогреет изба?

Разумел или нет, грамотей,
что, отрезав мне хлеба краюшку,
застелив для меня раскладушку,
вы своих обделяли детей?..

Я мечтал: стану кум королю,
отучусь, получу назначенье —
накуплю и конфет, и печенья,
колбасы и вина накуплю.

Заявлюсь — молодец молодцом!..
Думал, можно с единого маху

за отзывчивость, как за рубаху,
рассчитаться — и дело с концом.

Не судите, простите меня.
Я признание вынашивал долго,
и росло ощущение долга
год от года и день ото дня.

Рядом с вашей святой добротой
Что они, эти поздние строки?..
Не смиряюсь, что минули сроки,
не кичусь головою седой

и — у жизни уже на краю,
от волненья дыма папироской,
в дом на улице Софьи Перовской
возвращаюсь, как в юность свою.

* * *

Когда этот шумный бульвар
был садом Парижской коммуны,
за старой оградой чугунной
бренчанье бездумных гитар
не слышалось. В чинной тиши,
доверившись воспоминаньям,
сидели бабуся с вязаньем,
возились у ног малыши.
И только вечерней порой,
досужий народ зазывая,
не струнная, а духовая
звучала по-над Ангарой.
Мелодию трубы вели.
На том берегу, у вокзала,
она спотыкалась. Стихала
в Глазковском предместье, вдали.
...Пронесется годы, пыля.
Старинные вальсы и марши
становятся старше и старше.
Выходят в тираж тополя.
И, видно, за то, что не юн,
порушен единожды летом,
потом увезен Вторчерметом
ажурной работы чугуна.
А сад без ограды — не сад.
Здесь грохот транзисторов, пиво...

И смотрит Ермак сиротливо,
и сумрачен бронзовый взгляд.
Я, в общем, довольно терпим
к превратностям и переменам.
Ни взглядом, ни словом надменным
не стану пенять молодым.
И все же тревожит меня
одна неотступная дума.
Эпоха бедлама и шума
промчится, брэнча и звеня, —
иные придут времена,
а с ними приметывы иные.
И нынешние молодые,
коль не помешает война,
состарятся. Вспомнят иль нет
они и печально, и сладко,
как, выпив винца для порядка,
потом оседлав парашют,
неистово, словно в бреду,
без усталости пели и пели —
базлали, рычали, хрипели
у всех и у вся на виду?
Те песни, хотя бы во сне,
вернутся ли к ним после срока,
Как танго забытого Строка
Вернулось сегодня ко мне?

Холода

Какие нынче холода!
Как леденят они и жгутся!..
И лишь ангарская вода
не замерзает у Иркутска.

Когда мой длинный автовоз,
моя автобусная пара,
кряхтя, взбирается на мост,
я попадаю в царство пара.

И над рекой, как по реке,
плывут в тумане чьи-то лица.
Что стоит в этом молоке
пропасть, исчезнуть, заблудиться?

Баранку резко крутануть,
порвать ажурные перила...
река б торила тот же путь
и все парила бы, парила...

Какие нынче холода!
От них и сумрачные мысли.
Но меж столбами провода
от снежной тяжести провисли.

Но куржаком, как бахромой,
деревья пышно разодеты.
А это все зимы самой
отнюдь не зимние приметы!

И зреет заговор уже.
Весною и не пахнет будто,
но и в природе, и в душе
опять воскресла жажда бунта.

Бунтуем! Встали мятежом!
Идем на вы! Бросаем вызов!
Сосульки грозным этажом
Висят, как бомбы, вдоль карнизов.

Надежда

Я в этот город возвращаюсь
десятый ли, двадцатый раз.
Я — как солдат. Я не решаюсь
нарушить воинский приказ.
Схожу по трапу с теплохода
иль из вагона выхожу —
ищу у выхода, у входа,
ищу тебя — не нахожу.
Опять меня ты огорчаешь,
как зимний дождь, как летний снег:
не ждёшь, не плачешь, не встречаешь,
мой гордый, горький человек.
Я не храбрюсь — мне больно очень,
мне с каждым разом всё больней...
Я — как солдат — упрям и точен
на много лет, на много дней.
Друзья твердят, что это слишком,
что так, мол, дальше жить нельзя.
Они зовут меня мальчишкой,
бескомпромиссные друзья.
А может быть, они и правы?..
Я помню, как давным-давно

лихой мальчишеской оравой
мы с боем прорвались в кино —
и там затихли, не галдели...
В десятый ли, в двадцатый раз
мы про Чапаева глядели,
не отводя с экрана глаз.
А вдруг он выплывет, ребята?!
А вдруг он выплывет?! А вдруг...
Я был мальчишкою когда-то
и верил в силу честных рук.
Теперь я стал взрослей и строже,
но я мальчишка всё равно!
Ты не обманешь. Ты не сможешь.
Ведь это в жизни — не в кино.
Надеюсь — не могу иначе.
Зову тебя — нельзя молчать:
а вдруг ты вспомнишь? Вдруг заплачешь?
А вдруг придёшь меня встречать?!
Я завтра рано-рано встану.
Уеду, чтоб вернуться вновь.
Я возвращаться не устану.
Я верю в чудо. И в любовь.

Крик

В мороз и зной, на море и на суше,
в Рязани и в созвездии Тельца
упрямо ищем родственные души,
и нету этим поискам конца.

Как часто не ведут они к удаче.
О, поиски — вслепую, в темноте!

А мы молчим. Храбримся и не плачем.
А души-то вокруг не те, не те...

В отчаянье молчание нарушу —
Кричу и заклинаю и молю:
возьмите вашу родственную душу,
отдайте мне любимую мою!

* * *

В. Распутину

Добротный, навеки поставленный дом
на взгорке, у самой железной дороги.
В нем стрелочник жил. Выходил с фонарем,
цигарку курил в темноте на пороге.

Он знал свое дело — встречал поезда
и стрелку старательно чистил от снега.
Он думал: не сдержит ничто никогда
ни гула, ни свиста, ни стука, ни бега.

Ах, много на свете бессменных вещей,
да, видно, не всё неизменно на свете...
Растут между шпал лебеда и пырей,
играют на рельсах беспечные дети.

Теперь эти рельсы ведут в никуда,
в тупик упираются на косогоре.
А дальше — ангарская плещет вода:
Андрея Ефимыча Бочкина море.

В горах скоростная легла магистраль,
а эта дорога — уже не дорога.
Июнь отцветает, метелит февраль —
Забот у старушки не очень-то много.

Лишь в полночь, от мрачных тоннелей устав,
приходит не знающий шумных перронов
печального вида кургузый состав
из двух или трех допотопных вагонов.

И стрелочник в том не виновен ничуть,
что вдруг его должность сочли за безделку:
оставлен отныне единственный путь
и нету нужды перекидывать стрелку.

... А в доме — иной обитатель. Причем,
как стрелочник, трудится тоже на совесть.
Он пишет здесь повесть. Не знаю, о чем.
Дай бог, чтобы вышла хорошая повесть!